Простота, отсутствие вычурности, правда без излишних прикрас, принимаются с первого взгляда за отсутствие воображения и дара творчества. Истинно прекрасное оценивается постепенно и зато бывает долговечно. Второй акт сразу привел в восхищение. Чудные мотивы полонеза, краковяка, мазурки заставили всю залу встрепенуться, и наш образцовый кордебалет, предводительствуемый молодцом Гольцом, довершил очарование, произведенное музыкою. Поднялась завеса третий раз, на сцене Воробьева — Ваня, и она запела чудную свою арию; звуки ее бархатного чистейшего контральта полились прямо из души, хватая за душу самых хладнокровных слушателей. Самый закоренелый немец-контрапунк. тист и тот бы растаял. Так певали только Виардо и Лавровская. Следующий затем дуэт с Сусаниным - Петровым произвел не менее впечатления. Сцена с поляками, веденная неподражаемо Петровым и в вокальном и в драматическом отношении, в особенности возглас его «страха не страшусь, смерти не боюсь» опять расшевелили театр. Четвертый акт начинался тогда прямо со сцены в лесу; ария «Отоприте, отоприте» и вся сцена у романовского терема написана после. О том, как пел Петров, распространяться нечего, - кто не помнит его в ней. Что касается до самой сцены, то нельзя не сознаться, что она чересчур растянута и в конце концов становится утомительною, несмотря на драматичность музыки, пятый акт, вторичное появление Воробье. вой, финальное трио, сцена коронации, переполнили чашу наслаждения, но не могли быть прослушаны с таким вниманием, как первые. Все красоты его были поняты впоследствии.

В результате успех, успех громадный, но не без оклозиции, как то и следовало ожидать. Ансамбль был весьма дружный. Я говорил уже о Воробьевой и о Петрове, остается упомянуть о Степановой—Антониде и о Леонове — Собинине. В восторг они, конечно, никого не привели, но пели старательно, верно, с толком, — и за то спасибо [...].

Сюжет был выбран Глинкою самый удачный,— что может быть поэтичнее и драматичнее истинно геройского и чисто русского самоотверженного подвига Сусанина? Жаль, что барон Розен не сумел им воспользоваться, как следует, и написал свое либретто такими варварскими стиза

хами.

В течение трех месяцев «Жизнь за царя» была дана 18 раз, и билеты на ее представление брались с боя. Таким образом нельзя было приложить к Глинке известную поговорку, что в стране родной никто пророком не бывает.

## Л. А. ГЕЙДЕНРЕЙХ

## м. п. глинка

(заметка его доктора и друга)

Воспоминание о покойном Михаиле Ивановиче Глинке неразлучно с зчастливейшими днями моей жизни.

Время моего первого знакомства с ним относится к той достопамятной эпохе жизни нашего великого отечественного композитора, когда он был занят созданием «Жизни за царя». С первого же взгляда на покойного — тогда пылкого, полного жизни молодого человека, — я почувствовал к нему какое-то особенное расположение, в котором, во все продолжение его существования, ни на единый миг не раскаивался.

\* Виарто певала многие арии из «Жизни за царя» в концертах.—Примечание  $A.~U.~Bоль \phi a.$ 



А. Я. ПЕТРОВА-ВОРОБЬЕВА С портрета К. П. Брюллова

Светлый ум, выражением которого было проникнуто лицо Михаила Ивановича, доброта и прямодушие, соединенные с поэтическою, юношескою восторженностью, заключали в себе какую-то непреодолимую привлекательность. При втором или третьем моем посещении Михаила Ивановича мы уже беседовали с ним как давние знакомые. Он говорил со мною о создании той своей оперы, которой суждено было увековечить его имя; говорил с жаром, с любовью отца, беседующего о любимом своем детище, но, с тем вместе, и со скромностью - всегдашней спутницей истинного, великого таланта. Принадлежа к числу немногих лиц, особенно близких Михаилу Ивановичу, я слышал неоднократно исполнение им отрывков из «Жизни за царя» на фортепьяно — исполнение истинно мастерское, неподражаемое и, с тем вместе, в высшей степени оригинальное. Игре своей на фортепиано он вторил чрезвычайно удачным аккомпанементом голоса, подражая духовым инструментам, трубам, даже литаврам и барабанам. Эта игра была, так сказать, конспектом целого оркестра, моделью, дававшей, при малых своих размерах, точное понятие о колоссальном произведении, которое создавал тогда наш незабвенный Глинка.

Видимо, довольный впечатлением, производимым на нас, свидетелей, он в то же время с признательностью принимал совет каждого из нас, искренних его доброжелателей, и следовал ему, если же отклонял таковой, то высказывал причины уважительные, основательные — без малейшей тени заносчивости, свойственной многим даровитым художникам, к сожалению, ослепленным чувством собственного достоинства и горделивого самосознания. Этого самоослепления никогда не было в Михаиле Ивановиче.

Особенно родственно сблизились мы с ним, когда он гостил у меня, в моей квартире, в доме театральной дирекции. Он оживил мой отщельнический приют (я был тогда еще холост) и, так сказать, подцветил мое существование, которое, будучи посвящено науке, нуждалось по временам в освежающей беседе об изящном; и памятны мне навсегда беседы Глинки и его пребывание в моем скромном уголке: ему была по вкусу моя незатейливая трапеза (в особенности любимая им рисовая каша), за нею стакан красного вина, фрукты за десертом. Тогда в моем кабинете у меня жило до тридцати пернатых питомцев: в числе их несколько соловьев, прирученных до того, что они слетались на мой голос и распевали сидя на руках у меня или Михаила Ивановича. Он полюбил этих собеседников и постоянно забавлялся ими; скажу более: ласковость и доверчивость птичек, видимо, его трогали. Часто, возвращаясь домой, заставал я моего Мишеля лежащим на ковре и окруженным своими голосистыми друзьями... Впрочем, и то сказать: как было соловьям не дружить с Глинкою? Садился ли он к фортепиано — птички наперерыв звонко ему вторили и в эти минуты он напоминал баснословного Орфея...

Но был в его характере один довольно оригинальный недостаток, за который я, как медик и как друг, журил его частенько — «да только все не впрок»: это была его мнительность, в большинстве случаев доходившая до смешного. Она нередко подавала повод к забавнейшим сценам между мною, как доктором, и Михаилом Ивановичем, моим пациентом: недаром же он с юных лет называл сам себя и друзья называли его мимозою — не-тронь-меня. Кроме способности с болезненною нервозностью воспринимать самые мимолетные впечатления, Глинка в минуты нездоровья всегда давал волю своему воображению, а оно моментально делало ему из мухи слона. Помню, как однажды прибежал ко мне впопыхах его слуга с просьбою, чтобы я поспешил к Михаилу Ивановичу, «у

которого-де паралич».

— Это сам барин тебе сказал? — спросил я посланного.

- Они сами.

Этих двух слов было достаточно, чтобы рассеять все мои опасения. В полной уверенности, что Глинка чудит, я отправился к моему мнимому больному. Застаю его недвижно лежащим на диване: голос слабый, томный, рукою не шевелит, одним словом... здоровехонек, но привередничает. Щупаю пульс, осматриваю недвижимую руку — все благополучно, и нет ни малейшего признака паралича. Заставляю Мишеля пошевельнуть пальцами «пораженной» руки...

«Как можно! — восклицает он болезненным, плаксивым голосом,—

ты видишь, она у меня не двигается!»

Попробуй взять аккорд на фортепиано.
Что ты выдумал! Видишь — не могу.

Я прописал ему пилюли, в которых врачебных специй было именно на столько же, в какой степени был у Мишеля паралич: пилюли были скатаны из хлебного мякиша. Приказав больному исправно их принимать, я уехал, дав слово навестить его завтра. За ночь мой пациент совершенно поправился, онемение руки «как рукой сняло». Приезжаю утром.

— Легче?

— Слава богу, получше.

— Сядь к фортепиано, возьми аккорд.

- Попробую.

Попробовал — и слава богу: пальцы с обычной быстротой бегают по клавишам. Долгое время после того я не выводил моего друга из заблуждения, что избавил его от паралича — пилюлями из хлебного мякиша.

В другой раз мне пришлось его пользовать от какой-то фантастической невралгии — гомеопатическими приемами никотина. В данном случае защитники гомеопатии, пожалуй, и поспорили бы со мною: не на самом ли деле помогли Мишелю приемы никотина? Приехав к нему — слышу из его ответов, вижу из визитации, что болезнь — химера, которой однакож и самому Беллерофону не под силу уничтожить доводами и убеждениями... опять пришлось подняться на хитрости.

Поставив Глинку в один угол комнаты, я сам встал в другой и от-

крыл мою табакерку.

— Нюхай сильнее!

Пациент, стоя от меня в двадцати шагах, повиновался.

— Втяни воздух покрепче, еще раз, два.

Михаил Иванович повинуется.

— Легче ли?

— Как будто полегче.

— Завтра повторим и совсем поправишься.

Дня через два Глинка был здоров: мой никотин избавил его... от небывалой болезни. Но как же было мне иначе лечить моего доброго друга от припадков мнительности, которая, впрочем, сама по себе, стоит серьезной болезни. Ипохондрию Глинки я приписал бы страданиям печени, но она в то время была у него в совершенно здоровом состоянии.

Не так давно, в заметках одного (ныне покойного) отечественного композитора <sup>2</sup>, был высказан намек, что Глинка был низкопоклонен и льнул к аристократии. На этот неосновательный упрек уже был дан ответ П. А. Степановым, который опроверг фактически эту напраслину на память Михаила Ивановича, и дополнять этого ответа незачем <sup>3</sup>... Но, вникая в побуждения автора заметок, заставившие его хоть чем-нибудь да набросить тень на память творца «Жизни за царя». я угадал в них

зависть и недоброжелательство, нередко присущие дарованию при его отзывах о громадном таланте... В Глинке не только никогда не было пустого чванства и стремлений к аристократии, но даже и самолюбие его далеко не соответствовало его гению: он даже и тем не гордился... Благоволения аристократии он не заискивал, и потому его романсы мало распевались в великосветских салонах, подобно произведениям второстепенных композиторов, которые не могут быть и сравниваемы с Глинкою.

## H. A. THTOB

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...В 30-х годах я познакомился с М. И. Глинкою, и когда написал музыку на слова «Шарф голубой», показал ему, прося поправить ошибки протыв правил генерал-баса. Он взял, просмотрел, пропел и сказал мне: «Мелодия эта так хороша, что ежели что-нибудь в ней изменить — это значит все испортить. Все, что я могу себе позволить, — прибавилон,— это поправить бас в аккомпанементе, а более не смею ничего трогать».

Много обязан я этому гениальному композитору за его советы, рав-

но Даргомыжскому и Ласковскому.

Глинка был умен, любезен, когда хотел, пел пленительно, но не был симпатичен. В нем просвечивала гордость. Он был неимоверно самолюбив и занят своим талантом. Выше себя он не признавал никого и любил, чтобы ему внимали, но не могу не отдать справедливости его гениальному таланту. Видался я с ним в доме дяди моего , у полковника Стунеева и у Кукольника. Раз помню я, в избытке откровенности, он сознался мне, что не мог жить с своей женою, потому что qu'elle sentait de la bouche \*\* (его собственные слова); имел поговорку «барин» [...]

Глинка (Мих. Ив.), А. С. Даргомыжский, Ласковский и Болотникова

были замечательные пианисты в 30-х годах [...]

Хотя много появлялось сочинителей, но особенно замечательных талантов не было. С появлением же романсов Михаила Ивановича Глинки и Александра Сергеевича Даргомыжского все мелкие таланты затмились. Глинка и Даргомыжский приобрели неувядаемую славу на музыкальном поприще. Сочинения их отодвинули на задний план все романсы предшественников. Хотя романсы Варламова и мои продолжали еще иметь успех, но они далеко уже отстали в аккомпанементе и разнообразии характеров. Надо сказать и то, что [...] немногие знали так хорошо генерал-бас и контрапункцию, как изучили то и другое Глинка и Даргомыжский. Возьмите любой романс того и другого и сравните с любым романсом которого либо из прежних сочинителей, и вы увидите огромную разницу в аккомпанементе; это в своем роде этюды. Конечно, между многими из старых романсов есть прекрасные мелодии, но отделка бедна, аккомпанемент вообще очень прост, незамысловат и без малейшего варьирования. Мы писали один и тот же аккомпанемент на все куплеты романса, а они же аккомпанемент разнообразили, придавая

<sup>\*</sup> В квартире которого он жил тогда, а именно в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров; она помещалась в то время у Синего моста в доме графов Чернышевых, что ныне дворец великой княгини Марии Николаевны. — Примечание Н. А. Титова.

<sup>\*\*</sup> y нее пахло изо птя (dnaun)